

Поэтическая эссеистика

Евгений ТЕРНОВСКИЙ (ФРАНЦИЯ)

Родился в городе Раменское в 1941 году. В 1960–61 годах учился на заочном отделении Института иностранных языков, откуда был исключен по религиозным причинам. Работал грузчиком, санитаром. Изредка помещал переводы и статьи в советской прессе. С 1973 года публикуется на Западе в эмигрантских журналах. Эмигрировал в 1974 году. Работал в газете «Русская мысль», был ответственным секретарем журнала «Континент». Закончил Кёльнский университет. Преподавал в университетах Страсбурга и Лилля (степень доктора литературоведения – 1985). С 1995 года пишет в основном на французском языке. Автор многочисленных романов, повестей и эссе на русском и французском языках.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О СТИХОТВОРЕНИИ ПУШКИНА «ВОСПОМИНАНИЕ»

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.

Варианты, не попавшие в основной текст:

(Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, в гонении, в степях
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу наносит холодный свет
Неотразимые обиды.
Я слышу . . . жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,

И шёпот зависти, и легкой суеты
Укор весёлый и кровавый.
И нет отрады мне – и тихо предо мной
Встают два призрака молодые,
Две тени милые, – два данные судьбой
Мне ангела во дни былые.
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут – и мстят мне оба,
И оба говорят мне мёртвым языком
О тайнах счастья и гроба).

Стихотворение написано в 1828 году. Вторая её часть, незаконченная, напечатана посмертно.

Обратил ли кто-нибудь внимание, что она содержит пророчество о будущей кончине поэта?

Предательский привет:

По моему мнению, в этом неожиданном сочетании можно увидеть аллюзию на ближайшее окружение поэта – Вяземского, завистливого стихослагателя, терзавшегося ревностью к славе Пушкина, Жуковского, рыхлого «романтика» с водянистой псевдонемецкой поэтикой, более всего озабоченного своей придворной карьерой, трусоватого и ленивого Дельвига... О прочих можно не распространяться – их восхищение часто было ничем иным, как скрытой удушающей завистью, столь распространённой в литературном мирке (Рылеев, Кюхельбекер, особенно Катенин). Неловкое, *почти* предательское поведение Жуковского в преддуэльные дни и откровенно предательская позиция «дядюшки» Вяземского, который *«отвращает лицо от дома Пушкина»* (Софья Карамзина) накануне дуэли, полностью подтвердили предчувствие поэта.

Я думаю, что после 1828 года Пушкин больше не искал «литературных» друзей или не придавал им большого значения. Дружба с Нащокиным всегда удивляла современников и впоследствии пушкинистов. В самом деле, этот фантазмагорический кутила и гуляка, на сотни вёрст далёкий от литературы, имел мало что общего с поэтом. Но Пушкин, вероятно, ценил в нём то, что он не нашёл у литературной братии – благорасположенность, верность, отсутствие зависти и интриг.

За исключением убийственных эпиграмм, Пушкин никогда не целил открыто в своих «друзей». Правда, в стихотворении *Коварность* современники без труда узнали *друга-предателя* Александра Раевского, но этот персонаж не принадлежал к литературному миру. Я думаю, что читая *Онегина*, Вяземский или Катенин не могли не отметить коварность – то есть предательство – героя, который увлекает

возлюбленную своего друга на котильон и скверно играет роль сельского Ловеласа. Я убеждён, что литературная среда, а не полусветский реализм или модный байронизм вдохновляла поэта в создании истории Онегина.

В известном послании поэта к Катенину, контекст которого превосходно прокомментировал Ю. Тынянов («*Напрасно, пламенный поэт...*») эта ирония по отношению к «*другу*» выражена особенно гневно: Пушкин, ничтоже сумняшися, вводит его в галерею отравителей!

После 1830 года, поэт, который одаривал своих коллег многочисленными дружескими посланиями, больше не обращается ни к кому. Два послания к Плетнёву (1833) носят личный характер, и они не были предназначены для публикации.

Есть и другой аспект *предательских приветов*, хорошо известных пушкинистам.

Если составить антологию критических статей о творчестве Пушкина до 1830 года, то она проиллюстрирует критическую эволюцию, в которой первоначальное восхищение, вызванное первыми главами *Онегина*, сменяется скрытым раздражением. И это касается не только пресловутых зоилов типа Сеньковского или Булгарина. Надо сказать, что Пушкин совсем не обладал болезненной чувствительностью к критическим отзывам, столь свойственной посредственным литераторам. Он с интересом читал критический разбор, например того же Вяземского, и даже соглашался с некоторыми замечаниями. Но, я думаю, у него должны были вызывать досаду те отзывы – а они были многочисленны – в которых автор вливал кубок яда в панегирик (как это неоднократно делали П. Катенин или Н. Языков). Даже Баратынский, при всём своём почитании Пушкина, не сумел обойтись без этого *двойного* языка, в котором похвала зачастую граничит со старательной скрытой хулой.

Может быть, по этой причине он постоянно слышал в дружеском *литературном* приветке предательское эхо.

Неотразимые обиды:

В 1828 году мы ещё далеки от потоков грязи и навета 1836 года, но Пушкин уже тогда расслышал будущее *жуужжанье клеветы* и сформулировал с поразительной точностью обстоятельства преддвуэльной эпопеи: *легкой суеты укор весёлый и кровавый*.

После гнусной клеветы Толстого-Американца о мифической порке (1821) последовали и другие. Одна из них, смехотворная и грязная, заслуживает внимания: она, как кажется, глубоко задела поэта. Он упоминает о ней в письме: в обществе распространился слух о том,

что он стал... *шпионом* Его Величества, какими, в глазах современников, были Булгарин и, впоследствии, Яков Толстой. Я думаю, что истоком этой клеветы было назначение поэта историографом и его приближение ко двору. Но и литературная среда не осталась безразличной к этому (псевдо)возвышению, о чём сохранилось множество свидетельств. Поэт-бунтарь, поэт-пророк, ставший царедворцем?!

Но всё последующее творчество поэта свидетельствует о том, что он ни на йоту не потерял творческую независимость и свободу мысли, не случайно ряд его шедевров (*Борис Годунов*, *Медный Всадник* и т.д.) не были допущены царем к публикации.

Абсурд – наиболее эффективный метод клеветника, и он стар как мир. Чем невероятнее клевета, тем она кажется правдоподобней. Английские литераторы буквально утопили Байрона в болоте клеветы, о чём вспомнил Томас Мур в своих *«Стансах на смерть лорда Байрона»* («...гордый Альбион оплакивает поэта, которого он оклеветал»), хотя английский поэт не совершил, по мнению современных исследователей, те *«страшные преступления»*, в которых обвиняли автора *Дон Жуана*. Николай Некрасов, Достоевский, Анна Ахматова, Михаил Булгаков могли бы написать хрестоматийные страницы о последствиях клеветы, которая толкала их к полной изоляции, нищете или остракизму. Думал ли советский драматург Киршон, что его клеветнические отзывы о А.Ф. Лосеве (которого он предлагал поставить к стенке) в самом деле могли закончиться расстрелом великого ученого?

Клевета! Смертельной ружейной пули, ядовитей полония или цианистого калия, обладающая скоростью распространения, с которой не сравнится ни телефон, ни интернет!.. И это *жуужжанье клеветы* стало всеоглушающим во время преддвуэльных событий.

Было ли известно Пушкину о лживой и ядовитой клевете молодых Карамзиных и их общества, дом которых он посещал как дружественный? Именно из него выполз слух о *«связи»* Пушкина со своей свояченицей, из него потекли грязные сведения о *«ревности»* поэта, о его невозможном характере и грубости. Никакие свидетельства об этом до нас не дошли, но мне трудно представить, что ни одна из добрых душ этого окружения не поведала поэту, хотя бы вкратце, о порочащих его слухах. И я думаю, что Пушкин продолжал посещать этот дом в память о Н.М. Карамзине (гипотеза Тынянова о вечной любви к вдове Карамзина мне представляется мало убедительной), тем более, что с ними находилась в дружеских отношениях Наталья Николаевна, возраст который был близок к возрасту молодых Карамзиных.

Клеветники, особенно литературные, обычно не дают себе отчета в тяжких последствиях, к которым приводят наветы. Молодые легкомысленные Карамзины, в особенности Софья, не подозревали,

какое страшное оружие попало в их наивные руки – *клевета* (как если бы президентский атташе-кейс с атомным кодом оказался в руках пьяницы). Они до самой дуэли разносили по светским гостиницам «новости», порочащие поэта, как аморального человека. Но если бы *мнимая* связь Пушкина с Александриной стала известна двору, то она никогда не стала фрейлиной, а Пушкиным бы заинтересовались судебные власти, поскольку в те времена связь со свояченицей рассматривалась как инцест. Когда разразилась трагедия, Вяземский и Карамзины предпочли укрыться за спиной светских мерзавцев, типа Долгорукова или Валуева. Что казалось забавной любовной мелодрамой, оказалось кровавой драмой.

Не только *хладный свет*, но и литераторы с упоением следили за красавицей, которую следовало бы поместить в терем, за красавцем-французом, кавалергардом, не отличившимся ни в одном сражении, за низкорослым и некрасивым мужем, который вдруг стал историографом Его Величества – редкая привилегия! – хотя вся история Николая I не заслуживает одной строки Пушкина.

Посредственный и туповатый, по словам современников, Н.М. Смирнов (муж Смирновой-Россет) писал после смерти поэта: «...я не встречал людей, которые были бы вообще так любимы, как Пушкин; все приятели его делались скоро его друзьями». Вряд ли всеми любимый Пушкин отплатил бы чёрной неблагодарностью за всеобщую любовь. Я думаю, что у него были серьёзные основания сомневаться в этом обожании.

Но, может быть, одна из самых *неотразимых обид*, которые предчувствовал поэт, заключалась в том, что вражда исходила именно от тех людей, к которым он ничего, кроме дружбы, не питал.

Шёпот зависти:

Этот шёпот следовал за Пушкиным по пятам – от лицейского державинского вечера до Чёрной Речки.

Подлинная драма большого поэта заключается в том, что среди коллег у него нет и не может быть преданных друзей. Если вы сочинили талантливое произведение, то можете быть уверены, что ваш единственный верный друг – это читатель. Который со временем может стать почитателем. Всё иное – пыль, охотно переходящая в грязь. Такова психология всех мелких литераторов – *pourquoi lui et pas moi ?* (Почему он, а не я?). И они страстно ищут уязвимые (или то, что кажется им уязвимым) стороны художника: его внешность, происхождение, национальность, любовные перипетии, и т.д., всё что угодно, кроме неуязвимых текстов, которые не поддаются никаким нападениям.

К сожалению, эти «друзья» часто достигают больших успехов, оставаясь ничтожными в литературе и презренными в области морали.

Пушкин шутиливо заметил, что «...зависть – сестра соревнования, следственно из хорошего роду» (1831). Как знаток французской литературы, он мог бы вспомнить известное изречение Декарта (*«Il n'y aucun vice qui nuise tant à la félicité des hommes que celui de l'envie»* – «Нет порока более предосудительного для человеческого счастья, чем зависть») или не менее знаменитую фразу де Ларошфуко (*«Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions»* – «зависть длится значительно дольше, чем счастье тех, кому мы завидуем»), то есть до самой смерти).

Мне кажется, что шутиливость пушкинской фразы – лишь видимая, на самом деле, это ответ на упреки Вяземского в зависти к Байрону.

Прижизненный успех молодого Пушкина несравним ни с чьим другим в истории русской литературы. «In 1823 Pushkin had not rivals in the camp of the Moderns» («У Пушкина не было соперников среди новейших поэтов», справедливо писал Набоков в своём знаменитом комментарии к *Онегину*. Несколько случайных кандидатов в соперники, как Языков или Бенедиктов, продержались недолго. Этот успех продлился до начала тридцатых годов. Редки и комичны были сомнения в гениальности поэта (как, например, у директора лицея Энгельгардта). Юный Дельвиг, написавший, что «...Пушкин! Он и в лесах не укроется!», хоть и неловко, но точно выразил общую воодушевлённость, то волнение, которое часто сопутствует рождению гения. И, как кажется, впервые в России поэт очаровал не только литературную публику, но и светскую, и народную. *Чёрная шаль* стала популярней всем известных до сих пор песен, также как и *Русалка*. Появление глав *Онегина* ожидалось с таким же нетерпением, как сегодня фанатические поклонники знаменитых теноров ожидают концерты своих идолов.

После михайловской ссылки и появления в столице к славе Пушкина-изгнанника прибавился ещё один луч, несущественный для нас, но высоко ценимый в обществе: он стал близок к двору, к аристократическим кругам общества. Кроме Жуковского, поэты, которых именуют пушкинской плеядой, к нему доступа не имели. Это социальное восхождение одновременно и облегчило жизнь поэта (царская помощь в издании *Пугачева*, назначение камер-юнкером и т.д.) и усложнило её, поскольку Пушкин не располагал достаточными средствами для праздной светской жизни. Но в глазах общества эта близость была блестящим восхождением, которое возбудило зависть и разбудило злоречие. Женитьба на блистательной красавице стала поводом для новых слухов, один другого бессмысленней и

оскорбительней. Здесь снова отличился старый завистник Вяземский, который после смерти своего друга нагло волочился за вдовой, не испытывая ни малейшего уважения к памяти трагически погибшего поэта.

Ибо зависть – это безмолвная клевета, которая ожидает okazji, чтобы плеснуть свой яд на соперника, ставшего беззащитным.

Заключение: смерть.

Пушкин не закончил это стихотворение.

В черновике неожиданно появляется тема смерти, которая отсутствует в основном тексте. Это появление тем более неожиданно, что первая часть предстаёт как интимная лирическая исповедь, замыкающая два сюжета – осознание прошедшей жизни и раскаяние (покаяние). Как кажется, не было никакой внутренней необходимости развивать их дальше, поскольку поэт полностью исчерпал эту тему: память, развив свой свиток, оставила его наедине с совестью.

Многие пушкиноведы до сих пор ищут прототипы этих двух крылатых ангелов, пытаясь идентифицировать их с бывшими возлюбленными поэта. Вполне возможно, что они существуют, но они никогда не смогут объяснить семантику и фонетику этого черновика, который я без колебания причислил бы к шедеврам лирики, сравнимого разве лишь с самыми прекрасными строками в мировой литературе: «Es schwebet nun in unbestimmten Tönen Mein lispelnd Lied, der Aeolsharfe gleich» («Неуверенные звуки моей негромкой песни льются подобно звукам Эоловой арфы», Гете, Посвящение к «Фаусту»). Здесь чудотворно слились и фонетика, и мысль, и метафизика, чтобы подвести читателя к неисследимой тайне потустороннего мира. И водительницей поэта стала память, как и у Гете.

Но при внимательном чтении обнаруживается и другая пушкинская мысль, совсем не связанная с основным текстом. Точнее, не мысль, но некое предчувствие о *невозможности* счастья. Можно ли назвать счастьем то, за которым следует гроб? Это чувство преследовало поэта всю жизнь. Младой Ленский мог бы быть счастливым, если бы не вздорная светская ссора. Онегин обрёл бы счастье с Татьяной, если бы в юности он так печально не ошибся. Дон Гуан нашёл свою единственную подлинную любовь накануне смерти. Романтический разбойник Дубровский потерял свою возлюбленную, для которой долг, как позже и для Татьяны, значил больше, чем любовь.

Счастье и гроб – так Пушкин почувствовал своё будущее.
И он не ошибся.